

Научная статья  
УДК 32  
doi: 10.54398/1818510X\_2023\_1\_52

АГОНИСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

**Летняков Денис Эдуардович**  
Институт философии РАН, г. Москва, Россия  
letnyakov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7936-7013>

**Аннотация.** Статья посвящена исследованию режимов памяти применительно к постсоветскому пространству. Обращаясь к классификации режимов памяти на антагонистический, космополитический и агонистический, автор ставит перед собой задачу понять, почему в странах бывшего СССР доминирующим стал именно антагонистический способ работы с прошлым, а плюралистические тенденции, характерные для агонистического режима, не получили должного развития. В ходе исследования была выявлена связь между режимом памяти и характером нациестроительства, а также типом политического режима. Складыванию агонистического режима памяти после 1991 г. препятствует, во-первых, преобладание на постсоветском пространстве авторитарных политий, во-вторых, то обстоятельство, что процессы нациестроительства в большинстве новых независимых государств понимались как движение в сторону гомогенной этнонации, а не культурно сложной гражданской нации. В этой ситуации возможность борьбы разных мнемотических акторов вокруг интерпретации прошлого, составляющая основу агонистической памяти, оказывается существенно ограниченной. Необходимым условием движения к агонистической модели памяти оказывается соединение инклюзивной модели нации и демократической политики, что выглядит весьма проблематичным в нынешних постсоветских реалиях.

**Ключевые слова:** политика памяти, режимы памяти, агонистическая память, Россия, постсоветское пространство, демократия, авторитаризм, национализм

**Для цитирования:** Летняков Д. Э. Агонистическая память и ее перспективы для постсоветского пространства // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2023. № 1 (74). С. 52–58. [https://doi.org/10.54398/1818510X\\_2023\\_1\\_52](https://doi.org/10.54398/1818510X_2023_1_52).



Это произведение публикуется по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

AGONISTIC MEMORY AND ITS PROSPECTS FOR THE POST-SOVIET STATES

**Denis E. Letnyakov**  
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia  
letnyakov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7936-7013>

**Abstract.** The paper is devoted to the study of memory regimes in the post-Soviet states. The author refers to the classification of memory regimes into antagonistic, cosmopolitan and agonistic ones and aims to analyze the reason of domination of the antagonistic mode of memory in the FSU countries. The study reveals a correlation between the regime of memory and the specificity of nation-building process, as well as the type of political regime. Formation of an agonistic regime after 1991 was hindered, firstly, by the type of post-Soviet political regimes, a significant part of which can be defined as an autocracy. The second reason is the processes of nation-building, which were understood mostly as a movement towards a homogeneous ethno-nation, not a culturally diverse civic nation. In this situation, the possibility of struggle between mnemonic actors, which constitute the basis of agonistic memory, turns out to be significantly limited. A necessary condition for moving towards an agonistic model of memory is the combination of an inclusive model of the nation and democratic politics, which turns out to be very problematic in post-Soviet realities.

**Keywords:** politics of memory, memory regimes, agonistic memory, Russia, post-Soviet states, democracy, autocracy, nationalism

**For citation:** Letnyakov D. E. Agonistic memory and its prospects for the post-soviet states. *Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kultura* [The Caspian Region: Politics, Economics, Culture]. 2023, no. 1 (74), pp. 52–58. [https://doi.org/10.54398/1818510X\\_2023\\_1\\_52](https://doi.org/10.54398/1818510X_2023_1_52).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

**Введение**  
*Режимы памяти и их возможная классификация*

Одно из направлений в исследованиях исторической памяти связано с изучением режимов памяти, под которыми в самом общем смысле понимаются различные способы помнить о своём прошлом, принятые в том или ином обществе. Так, в академической литературе можно встретить противопоставление антагонистического и космополитического режимов [17; 22]. В рамках первого из них мнемотические акторы<sup>1</sup> нацелены, прежде всего, на защиту определённой версии истории, которую, как они считают, их оппоненты пытаются оболгать, обесценить, маргинализировать. Такая установка выливается в бескомпромиссную борьбу с контрнарративами как внутри страны, так и вовне. На международной арене государства могут использовать разные рычаги, вплоть до экономических, для продвижения определённой версии исторических событий или для оспаривания «неудобного» для себя прошлого. Например, признание президентом Франции Ж. Шираком геноцида армян в 2001 г. привело к резкой реакции официальной Анкары, которая включила в себя разрыв контрактов на закупку Турцией французских вооружений и исключение французских компаний из участия в ряде тендеров на территории Турецкой Республики. Внутри страны полноценная мемориальная дискуссия также оказывается невозможной, поскольку каждый актор видит своей главной задачей не услышать противника, понять его точку зрения, а заглушить его.

В свою очередь, космополитическому режиму памяти не свойственен манихейский, чёрно-белый подход, при котором каждый мнемотический актор чувствует себя носителем «исторической правды». Преодолевая национализм, характерный для исторического

© Летняков Д. Э., 2023.

<sup>1</sup> Это понятие было введено М. Бернхардом и Я. Кубиком для обозначения политических игроков, «заинтересованных в определённой интерпретации прошлого» [14, p. 11].

нарратива последних двухсот лет, космополитическая культура памяти призывает смотреть на прошлое с моральных позиций, с точки зрения общечеловеческих ценностей. Скажем, для космополитизма история любой войны – это повод не для патриотической агитации, а скорее для рефлексии, для разговора о человеческой трагедии как таковой. Именно этот посыл лежал в основе встречи французского президента Ф. Миттерана и германского канцлера Г. Коля в 1984 г. под Верденом. Лидеры наций, армии которых когда-то столкнулись друг с другом в одном из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны, приехали туда, чтобы вместе почтить память павших по обе линии фронта. Другой очевидный пример – это трагедия Холокоста, ответственность за участие в которой сформировала транснациональные рамки памяти в послевоенной Европе. Таким образом, если антагонистический режим памяти конфликтногенен по своей сути, то в центре космополитического режима лежит идея консенсуса, примирения вокруг прошлого.

Позднее обозначенную дихотомию дополнил третий режим памяти – агонистический. Насколько можно судить, первыми это понятие ввели в научный оборот А. Булл и Г. Хансен, отталкиваясь от концепции агонистического плюрализма Ш. Муффа [16]. Сама Муфф исходит из идеи о неустрашимости конфликта из политики, поскольку позиции членов общества по многим вопросам зачастую принципиально несовместимы друг с другом: либералы и социалисты едва ли договорятся по вопросу налогов, прогрессисты и традиционалисты – по вопросу абортот и т. д. Коль скоро достижение окончательного консенсуса оказывается невозможным, задача демократической политики заключается в том, чтобы институционализировать конфликт, ввести его в определённые рамки, не допустить его превращения в разрушительный для общества. Одно из важнейших условий этого – отношение к своим оппонентам не как к врагам, а как к соперникам. Между этими понятиями есть принципиальная разница. В отличие от врагов, с которыми не может быть никаких компромиссов, поскольку они представляют для нас экзистенциальную угрозу, с соперниками можно бороться, уважая при этом их точку зрения и само их право на существование [23]. Эти принципы, будучи перенесёнными на сферу исторической памяти, позволяют в некотором смысле осуществить синтез антагонистического и космополитического подходов: в противовес космополитическому режиму памяти агонизм не стремится вовсе избегать мемориальных конфликтов, при этом, в отличие от антагонизма, речь идёт не о противостоянии с нулевой суммой, в котором нужно обязательно подавить соперника, но о столкновениях и дебатах, которые способствуют открытому и демократичному обсуждению прошлого.

Агонистический подход основывается на процессуальном понимании коллективной памяти: она предстаёт результатом постоянных (ре)интерпретаций прошлого, общественных переговоров, политической борьбы. В этом смысле коллективная память всегда избирательна, неполна, субъективна, ни один из акторов не обладает монополией на историческую правду, а доминирующий нарратив может оспариваться «субальтернативными» контрнарративами [12, p. 151]. В качестве примера такого антиэссенциалистского подхода можно указать на понятие «mythscape», предложенное британским исследователем Д. Беллом. Это неологизм, образованный контаминацией слов «myth» (myth) и «landscape» (landscape). Пожалуй, в качестве русскоязычного аналога здесь подошло бы слово «мифосфера». Мифосфера Белла – это дискурсивное пространство, в пределах которого происходит непрерывный процесс формирования, пересборки, продвижения и столкновения друг с другом различных нарративов (мифов) о нации и её историческом прошлом [13]. Так, в Британии триумфалистский имперский миф (Британская империя как сила, несущая цивилизацию покорённым народам) в послевоенный период наталкивается на контрнарратив о преступлениях колониализма. Акторами этой альтернативной памяти выступили левые интеллектуалы и политики, а также выходцы из бывших британских колоний. Вместе эти конфликтующие нарративы образуют единую мифосферу, очерчивают рамки, в которых ведутся дебаты об имперском прошлом страны [12, p. 152].

Именно агонистическая модель памяти представляется автору наиболее продуктивной. С одной стороны, она выглядит более реалистичной, чем космополитическая, поскольку сторонники агонизма не пытаются вовсе исключить конфликтную составляющую из сферы коллективной памяти, осознавая, что консенсус по поводу прошлого зачастую невозможен. С другой стороны, принципы агонизма в значительной мере нейтрализуют непримиримый пафос антагонистического подхода, что не позволяет мемориальным конфликтам стать деструктивными. По словам А. Булла, акторы памяти, ориентированные на агонистический режим, могут быть определены не как «мнемотические войны», но как «радикальные мнемотические плюралисты» [15, p. 5]<sup>1</sup>.

Важно при этом отметить, что мнемотические режимы лучше рассматривать в качестве веберовских идеальных типов. В реальности сфера исторической памяти в конкретном обществе может в большей или меньшей степени соответствовать какому-то из трёх названных режимов. Скажем, на сегодняшний момент дальше остальных по пути формирования агонистического режима продвинулись либеральные демократии Запада. Не случайно в последние десятилетия исторический канон претерпел там существенные изменения, различные контрнарративы получили большую возможность быть представленными в публичном пространстве через систему образования, академические исследования, музеи, искусство, медиа и пр. Это касается региональных версий прошлого, которые могут отличаться от общенационального нарратива (фламандская память vs бельгийская, шотландская vs британская) или коллективной памяти этнических и расовых меньшинств (т. н. «чёрная история» в США, аборигенная история в Австралии и Канаде). Совсем иную картину можно видеть на постсоветском пространстве. Доминирующим здесь остаётся антагонистический режим, а плюралистические тенденции в политике памяти не получили того развития, на которое можно было бы надеяться в ситуации перехода от посттоталитаризма и краха советской «официальной памяти»<sup>2</sup>.

В данной статье автор ставит перед собой задачу понять, что именно предопределило движение таких разных стран, как, например, Туркмения и Эстония, Россия и Армения в сторону антагонистической модели памяти после 1991 г. И здесь будут последовательно рассмотрены два главных фактора: 1) процессы нациестроительства, понимаемого почти везде на постсоветском пространстве как формирование гомогенного этнокультурного сообщества (а не поликультурной гражданской нации); 2) преобладание среди постсоветских государств авторитарных политик, которые по самой своей природе оказываются враждебными всякому подлинному плюрализму. Кроме того, исходя из проведённого анализа, будет сделан вывод о том, каковы перспективы пересборки исторической памяти в постсоветских странах на более инклюзивных основаниях.

#### Основная часть

##### Использование прошлого в контексте постсоветского нациестроительства

После распада СССР перед странами, возникшими на его обломках, встала задача самостоятельного государство- и нациестроительства, иначе говоря, создания институтов, необходимых для независимого суверенного существования, а также консолидации населения и утверждения среди него прочной национальной идентичности. Несмотря на культурную сложность подавляющего большинства постсоветских обществ (по сути, единственная страна, в которой отсутствуют сколько-нибудь значимые этнические, языковые и религиозные меньшинства – это Армения), правящие элиты вместо ориентации на проект инклюзивного гражданского национализма руководствовались идеей формирования этно-нации<sup>3</sup>. Надо сказать, что это во многом стало наследием советской национальной

<sup>1</sup> В данном случае Булл ссылается на классификацию мнемотических акторов уже упомянутых Бернхарда и Кубика, в то время как «мнемотические войны» пытаются отстоять одну, единственно верную, на их взгляд, версию истории, «мнемотические плюралисты» готовы вступать с оппонентами во взаимоуважительный диалог.

<sup>2</sup> Официальную память можно определить как ту, «которая поддерживается и продвигается силами, находящимися у власти в определённом обществе» [19, p. 98].

<sup>3</sup> В этом аспекте из общего ряда откровенно выбиваются лишь Россия и Беларусь. В РСФСР русские не считались титульным населением, более того, значительная часть территории республики состояла из национальных регионов. Вся эта сложная этно-территориальная структура после 1991 г. была унаследована «новой» Россией. Общность, от имени которой учреждалась Конституция 1993 г., именовалась «многонациональным народом Российской Федерации», национальные субъекты в составе РФ также были сохранены. В Беларуси, которая была самой русифицированной республикой СССР, после прихода к власти А. Лукашенко национальная идентичность стала строиться на неосоветской модели. Она предполагает апелляцию в политике памяти к советскому прошлому

политики. Как известно, в 1920–1930-е гг. в ходе процесса национально-территориального размежевания страна была разделена на множество национальных единиц (республики, автономные округа, национальные районы и пр.), каждая из которых символически закреплялась за так называемой «титულიной» национальностью. Тем не менее, не всегда составляя большинство на данной территории, титульное население давало название самой национальной единице (казахи в Казахской ССР, чувашаи – в Чувашской АССР и т. д.) и получало там на правах «хозяина» определённые привилегии. Например, культура и язык именно этой этнической группы поддерживались государством в рамках политики «коренизации», её представители в первую очередь кооптировались в состав партийного руководства, культурной и интеллектуальной элит. В рамках этой же логики крушение СССР, сопровождавшееся националистической мобилизацией на «окраинах», трактовалось элитами бывших союзных республик как возможность установить полную культурную гегемонию титульной этнической группы. Если мы от империи переходим к 15 национальным государствам<sup>1</sup>, то каждое из них должно стать в первую очередь государством казахов (а не всех казахстанцев), латышей (а не латвийцев) и т. д. Отсюда враждебность новых государств к языковому разнообразию, закрепление в законодательстве особого статуса титульного населения, стремление подчистить топонимику от «инокультурных» названий и т. д. Культурный плюрализм почти повсеместно рассматривался как угроза, а не как ресурс.

Этноцентризм проникал и в сферу исторической политики, работая на формирование антагонистического режима памяти. Ведь плюрализация мемориальной культуры в принципе невозможна вне инклюзивного видения нации. Скажем, только после того, как в 1960-е гг. культура чернокожих стала рассматриваться как неотъемлемая часть американской культуры, «чёрная история» вошла в национальный исторический нарратив США, заняла своё место в музеях, в системе образования, воплотилась в виде памятников, названий улиц, официальных праздников<sup>2</sup>. Поэтому установка постсоветских элит на формирование гомогенной этнонации ограничивает пространство диалога разных памятей, искусственно уравнивая гегемонистский националистический миф о прошлом с коллективной памятью всего общества. Эта проблема подробно обсуждалась применительно к Украине в любопытном сборнике под редакцией Г. Касьянова и Ф. Тера. Один из его авторов, А. Каппелер, рассуждает о необходимости выйти за пределы «узкого национального нарратива», рассматривающего историю Украины как историю этнических украинцев. В этой связи Каппелер обращает внимание на то, что внутри украинского общества, во-первых, сосуществуют региональные нарративы со своим пантеоном героев (в конце 1990-х гг. С. Петлюру положительно оценивал 31 % респондентов на западе страны и лишь 6 % – на востоке), во-вторых, сохраняется контрапункт этнических меньшинств, не всегда готовых принять ту трактовку прошлого, которую предлагает этноцентристский нарратив. Скажем, для коллективной памяти еврейского населения фигура Б. Хмельницкого ассоциируется в первую очередь не с национально-освободительной борьбой, а с чудовищными по своим масштабам еврейскими погромами. Аналогичным образом для украинского поляков деятельность УПА навсегда связана с Волынской резнёй 1943–1944 гг. Выход видится Каппелеру в создании «мультиэтнической» истории Украины, которая примирила бы между собой память разных сообществ и групп [20, p. 51–80].

Кроме того, конструирование этноцентристских нарративов ведёт к их неизбежному столкновению между собой, поскольку попытки удревления национальной истории, апелляция к «золотому веку» народа, который обнаруживается где-то в глубокой древности<sup>3</sup>, нередко провоцирует конфликты между постсоветскими странами. Один из распространённых вариантов таких «войн памяти» – споры о том, кто имеет больше оснований апроприировать в свой исторический канон какую-нибудь империю древности, прославленного завоевателя или великого поэта. В Закавказье соревнование за статус страны с самой древней государственной традицией привело к «присвоению» Арменией истории государства Урарту, а Азербайджаном – Мидийского царства. Аналогичные баталии на историческом фронте идут между Узбекистаном и Таджикистаном. Официальный Душанбе рассматривает в качестве истока своей государственности империю Саманидов, столицей которой была Бухара, переданная Узбекистану в советский период. Этот нарратив вызывает протесты у узбекских историков [21, p. 395]. Также обе страны претендуют на включение в свой национальный пантеон Алишера Навои (1441–1501) и Авиценны (980–1037). В первые годы независимости между Литвой и Беларусью шли острые дискуссии о том, кто имеет право считаться прямым наследником Великого княжества Литовского.

Значительные усилия постсоветских государств были также направлены на то, чтобы отстроиться от прежнего москвоцентричного нарратива с его акцентом на исторических связях союзных республик с «метрополией» и идеологией патерналистской опеки русского «старшего брата». После 1991 г. разрыв с империей должен был состояться не только на политическом и экономическом уровне, но и на уровне идентичности новых обществ. Это влекло за собой переоценку многих деятелей прошлого (басмачи в Узбекистане, дашнаки в Армении превратились из сугубо отрицательных персонажей в положительные) и иное прочтение исторических событий (вхождение Грузии в состав России стало рассматриваться в логике колониального поглощения, Переяславская рада 1654 г. больше не знаменовала собой «воссоединение» Украины с Россией).

Наконец, важной частью политики памяти на постсоветском пространстве стала тенденция к самовиктимизации. Речь идёт о стремлении представить нацию жертвой исторической несправедливости, подчеркнуть выпавшие на её долю страдания. Восьма популярным, например, оказалось обращение к теме пережитого геноцида (Голодомор как геноцид украинского народа, «геноцид Голощёкина» в Казахстане в начале 1930-х гг., «геноцид [азербайджанцев] в Ходжалы» во время нагорно-карабахского конфликта и «мартовский геноцид», отсылающий к столкновениям в Баку в 1918 г.). Как отмечает Е. Финкель: «на всем огромном пространстве от Эстонии на севере до Казахстана на юге вряд ли найдётся страна, в которой власти или оппозиция не рассматривали бы всерьёз идею официального признания прошлых страданий как геноцида» [9, с. 125–126]. В этом смысле показательна публичная обструкция писательницы Р. Ванагайте, выпустившей в 2016 г. книгу «Наши», в которой рассказывалось об участии литовцев в Холокосте. Давление на Ванагайте, вплоть до обвинений в её работе на Кремль, было во многом связано с тем, что в её книге литовцы в противоположность доминирующей мемориальной культуре представляли не только жертвами двух тоталитарных режимов, но и непосредственными участниками преступлений.

Откровенная инструментализация прошлого правящими элитами, которые видели в истории ресурс для обеспечения собственной легитимации, достижения внутри- и внешнеполитических целей, а также педалирование в политике памяти образа негативного Другого, исторического врага, роль которого претендовала либо бывшая метрополия, либо соседние народы, оставляли не так много возможностей для осмысленных мемориальных дискуссий после распада СССР. Более того, поскольку исторические сюжеты оказывались в высшей степени политизированными, сомнения в правильности «официальной памяти» могли в некоторых случаях трактоваться как нелояльность нации как таковой. Не случайно эстонский министр юстиции У. Рейнсалу предлагал в 2016 г. обязать всех претендентов на гражданство признавать факт советской оккупации страны в 1940 г. В такой ситуации голоса «мнемотических воинов» неизбежно заглушали «мнемотических плюралистов».

---

(показательно сохранение в стране официального праздника 7 ноября, а также выбор в качестве Дня независимости даты освобождения Минска от гитлеровских войск), использование советской символики (герб и флаг БССР) и ориентацию на русское культурное и языковое пространство (Беларусь – единственная страна бывшего СССР, помимо России, где русский язык имеет статус государственного).

<sup>1</sup> В данном случае мы оставляем в стороне дискуссию о том, был ли СССР империей. Гораздо важнее, что такое восприятие стало доминировать в большинстве новых независимых государств.

<sup>2</sup> В 1964 г. в Вашингтоне появился Национальный музей африканского искусства, затем Национальный музей афроамериканской истории и культуры. С 1976 г. по всей стране ежегодно отмечается Месяц чёрной истории (Black History Month). С 1983 г. День Мартина Лютера Кинга стал в США общенациональным праздником.

<sup>3</sup> С. Ушакин назвал такой подход к прошлому «археологией достоинства» и связал феномен искусственного удревления истории с попыткой постсоветских государств сделать акцент на том периоде в прошлом (пусть даже откровенно мифологическом), когда нация не только не была колонизирована и унижена, но напротив сама выступала строителем могущественной империи [8, с. 401].

*Политические режимы и режимы памяти*

П. Бурдьё когда-то привнес в социологию понятие поля (поле науки, поле экономики, поле религии и пр.) как пространства, содержащего в себе «отношения силы, отношения доминирования», где происходит борьба «за сохранение или изменение этого соотношения» [2, с. 21–22]. Структуру поля, говорит Бурдьё, определяют «агенты», конкурирующие между собой за влияние и различающиеся при этом объёмом своего «капитала». Думается, что по аналогии с другими полями можно говорить и о «мнемотическом поле» (поле памяти), на котором действуют агенты, обладающие определённым набором ресурсов и пытающиеся инвестировать эти ресурсы в достижение своей цели. Последняя может быть определена как утверждение в публичном пространстве определённой интерпретации прошлого. Для обозначения этих агентов в литературе используются разные дефиниции – это не только уже упоминавшиеся «мнемотические агенты», но и «работники памяти» (*memory workers*) [18, p. 67], «агенты памяти» (*commemorative agents*) [24, p. 185], «моральные антрепренёры» (*moral entrepreneurs*) [25]. Однако сама по себе активность разных мнемотических агентов, возможность взаимного опосредования исторических нарративов и борьбы за утверждение определённой версии коллективной памяти предполагает существование плюралистически организованной публичной сферы. Это, в свою очередь, позволяет говорить о наличии прямой корреляции между режимом памяти и политическим режимом.

Если мы сравним политический процесс в демократических и авторитарных государствах, то увидим, что одно из фундаментальных отличий заключается в отсутствии в авторитарной, соревновательной составляющей политики. При авторитаризме о политике можно говорить лишь в смысле управления обществом, однако здесь если не элиминировано вовсе, то сведено к минимуму идущее от Аристотеля понимание политики как коммуникации граждан по поводу общего блага. Именно это имела в виду Х. Арендт, когда говорила о том, что любая тирания «по сути своей неполитична»: она не соответствует модели полиса как пространства, в котором все общезначимые вопросы подлежат открытому обсуждению [11, p. 202]. Демократии же, напротив, ориентированы на делиберативное понимание политики, и неотъемлемой частью публичных дебатов вообще оказываются дискуссии по поводу исторической памяти.

Таким образом, при демократии и при авторитаризме структура «мнемотического поля» выглядит по-разному. И здесь, и там государство, в силу имеющихся в его распоряжении символических и материальных ресурсов, остаётся самым важным игроком. Однако в демократиях государство, во-первых, в гораздо меньшей степени можно описывать в качестве монолитного мнемотического актора. Разные политические силы могут контролировать разные институты государства (президентство, парламент, региональные законодательные органы и пр.), что само по себе делает политику памяти более плюралистичной. Как справедливо замечает один из исследователей, понятие «официальная память» вряд ли вообще применимо к демократиям в силу разнонаправленности самой «символической власти» государства [19]. Во-вторых, в демократиях государство не имеет монополии на регулирование коллективной памяти, поскольку его инициативы в этой сфере всегда могут быть не только поставлены под сомнение, но и блокированы гражданским обществом. В этом смысле показательно возникновение самого понятия «историческая политика». Оно появилось в Германии в 1980-х гг. после того, как новый канцлер Г. Коль выступил с идеей «нормализации» немецкой истории (немецкая идентичность и исторический нарратив не должны строиться лишь вокруг памяти о преступлениях нацизма, как это было в 1960–1970-е гг.). Это вызвало жёсткую критику левых интеллектуалов, и в итоге инициатива Коля так и не была по-настоящему реализована [6, с. 9]. Таким образом, негосударственные агенты памяти обладают порой достаточными ресурсами для того, чтобы конкурировать с государством на «мнемотическом поле», продвигать собственную повестку.

Что касается авторитарных режимов, то здесь гегемонистский нарратив тоже не всегда оказывается полностью безальтернативным, однако контрнарративы чаще всего ограничены частным пространством (например, существуют в форме так называемой «кустной истории»), либо допускаются в публичное пространство только в том случае, если они не рассматриваются как угроза «официальной памяти»<sup>1</sup>. Так или иначе, именно государство суверенно определяет разрешённую степень плюрализма в сфере исторической памяти (как, впрочем, и в других сферах).

Переходя теперь непосредственно к постсоветскому пространству, мы должны отметить, что это регион, испытывающий существенный дефицит демократии: здесь доминируют консолидированные авторитаризмы и гибридные режимы (см. табл.). Такая политическая конфигурация облегчает стремление правящих элит использовать прошлое в своих прагматичных целях и одновременно блокирует перспективы перехода к агонистической модели памяти.

В этой связи можно вспомнить, как во всех центральноазиатских государствах трактовки исторических событий, публично в высказанные политическими лидерами, тут же становились частью не подлежащего сомнению официального нарратива, а профессиональные историки послушно выполняли политический заказ. Наиболее одиозный пример авторитарного «изобретения традиции» даёт, пожалуй, Туркмениа времен правления С. Ниязова. По этому поводу В. Шнирельман приводит один курьёзный, но показательный случай: Ниязов, озабоченный обоснованием того, что предки туркмен не были кочевниками, инициировал проведение в 1993 г. в столице научного симпозиума, на котором дал указание историкам найти доказательство этой гипотезы. Как иронически замечает исследователь, некоторым из туркменских учёных «удалось сделать это тут же на указанной сессии» [10, с. 202]. Равным образом в Узбекистане И. Каримова отсутствовали агенты памяти, которые могли бы противостоять государственной политике, нацеленной на радикальный разрыв культурных и исторических связей с Россией, включая переименование улиц, демонтаж памятников, изъятие из архивов и библиотечных фондов изданий, неудобных для нового националистического нарратива, и даже целенаправленное уничтожение городских построек, которые относились к царскому и советскому периодам [3, с. 60–61]. Не случайно С. Горшенина отмечает, что в Узбекистане борьба с советским наследием осуществлялась вполне по-советски: «все проекты [ревизии коллективной памяти] шли через бюрократический аппарат, подпитывались государственной идеологией, исключавшей какой-либо критический взгляд со стороны, и опирались на административно-государственные финансовые и технические ресурсы» [3, с. 61]. Об авторитарной политике памяти, которая «не оставляет места для инакомыслия», исследователи говорят и в отношении постсоветского Азербайджана [1].

Столь же жёсткими методами происходило утверждение неосоветской модели идентичности белорусским президентом А. Лукашенко. Вскоре после его прихода к власти в стране была запрещена учебная литература, выходящая до 1995 г., когда в Беларуси, подобно другим постсоветским странам, происходила «национализация» истории [7, с. 55]; фактически под запретом оказалась и символика Великого княжества Литовского, ассоциировавшаяся с политической оппозицией. Политика памяти в Беларуси при Лукашенко не всегда оставалась последовательной. В ситуации охлаждения отношений с Россией, которые неоднократно случались за эти годы, белорусский лидер порой неожиданно разворачивался в сторону националистического нарратива. Скажем, в 2007 г. произошла частичная реабилитация Белорусской Народной Республики (БНР), которая до этого клеймилась как политическое образование, созданное под немецким протекторатом, и не рассматривалась «официальной памятью» как важный исток белорусской государственности. В 2018 г. 100-летие БНР было отмечено на самом высоком уровне, включая открытие специальной выставки в Белорусском национальном музее. С другой стороны, ухудшение отношений с Западом, в т. ч. с Польшей и Литвой, после протестов 2020 г. привело к очередным новациям в белорусской исторической политике. Период пребывания белорусов в составе Речи Посполитой был объявлен временем «оккупации белорусских земель» и «этноцидом», одновременно, как в первые годы независимости, были предьявлены исторические претензии на наследие Великого княжества Литовского. Кроме того, государственным праздником, Днём народного единства, стало 17 сентября – дата вступления советских войск на территорию Польши в 1939 г. в соответствии с пактом Молотова –

<sup>1</sup> Наблюдатели, в частности, обращали внимание на то, что «первые лица» российского государства сознательно не стали заявлять свою позицию в отношении 100-летнего юбилея революции 1917 г. В отсутствие «генеральной линии» коммеморация этого события осуществлялась на весьма плюралистичных началах разными агентами исторической памяти (политическими партиями, научными институтами и т. д.) [5].

Рибентропа (в результате БССР обрела территориальные границы, в которых существует сегодняшняя Беларусь). Но как бы не изменялась историческая политика в угоду политической конъюнктуре, ресурсов для того, чтобы продвигать в публичном пространстве какие-то контрдискурсы, у негосударственных мнемотических акторов в Беларуси было не так много.

Подводя итог этой части, скажем несколько слов о российском случае. Он показателен тем, что по мере сокращения политического плюрализма – перехода от «конкурентного авторитаризма» 1990-х гг. к его более консолидированной версии – в России последовательно ликвидируется плюрализм и на «мнемотическом поле». Отражением этой тенденции стало учреждение в 2009 г. президентской комиссии «по противодействию попыткам фальсификации истории», начало секьюритизации дискурса об исторической памяти, разговоры о необходимости создания единого учебника истории с тем, чтобы исключить разные трактовки исторических событий, принятие начиная с 2014 г. серии мемориальных законов, устанавливающих, в т. ч. на уровне Уголовного кодекса, рамок «правильной» трактовки Второй мировой и Великой Отечественной войн. К концу второго срока В. Путина Россия начинает активно участвовать в «войнах памяти», остро реагируя на действия других государств, бросающих вызов официальному российскому нарративу о войне. Собственно, именно на рубеже «нулевых» и 2010-х гг. в российский дискурс прочно вошло само понятие «историческая политика» как деятельность государства, направленная на регулирование коллективной памяти.

Всё это не значит, что деятельность негосударственных мнемотических акторов в России стала невозможна в принципе (упомянем хотя бы проект «Последний адрес», возникший в 2014 г. как общественная инициатива по увековечиванию жертв политических репрессий), тем не менее с определённого момента государство явно стремится определять повестку на этом поле, в т. ч. апроприируя удачные низовые проекты (вроде «Бессмертного полка») и в целом рассматривая историческую политику как разновидность идеологической работы с населением. Эта работа представляется российскому правящему классу тем более важной, что в отсутствие образа будущего и какой-либо внятной стратегии развития страны национальная консолидация оказывается возможной, главным образом, на фундаменте прошлых побед и свершений.

**Выводы**

Структура «поля памяти» в постсоветских странах устроена, разумеется, по-разному: где-то она выглядит более плюралистичной<sup>1</sup>, а где-то, напротив, более монолитной, с государством, претендующим на монополию в сфере исторической памяти. Тем не менее, как было показано в статье, мнемотический режим всюду остаётся бесконечно далёким от агонистической модели. Это означает, что пространство по-настоящему открытых и взаимоуважительных дебатов по поводу национального прошлого на постсоветском пространстве так и не сложилось.

Автором было выделено два главных фактора, препятствующих выработке более инклюзивной модели исторической памяти. Во-первых, это процессы нациестроительства после 1991 г., которые привели к политизации истории, к активному использованию образа врага в политике памяти, а также к стремлению поставить знак равенства между историей страны и историей титульной этнической группы. Во-вторых, это доминирование в странах бывшего СССР авторитарных политических режимов, плохо совместимых с моделью политики как форума. Если пространство публичного диалога как такового в той или иной стране существенно ограничено, странно было бы надеяться на иную ситуацию в сфере исторической памяти.

Как можно видеть из таблицы, представленной ниже, хотя бы один из двух названных факторов оказывается релевантным для каждой страны постсоветского пространства, а в некоторых случаях они совпадают. Есть авторитарные страны, выбравшие путь строительства гражданской нации (или, во всяком случае, сочетающие формирование этнонации с элементами более инклюзивной модели); есть более демократичные постсоветские государства, которые при этом отдали предпочтение эксклюзивной модели нациестроительства; есть авторитарные государства, ориентированные на модель этнонации; однако нет ни одной постсоветской политики, которую можно было бы определить одновременно и как демократию, и как страну, сделавшую выбор в пользу поликультурной гражданской нации.

Таблица. Классификация постсоветских политических режимов<sup>2</sup> и моделей нациестроительства<sup>3</sup>

Страна	Тип политического режима (по итогам 2021 г.)	Модель нациестроительства
Армения	Гибридный	Эксклюзивная
Азербайджан	Авторитарный	Смешанная <sup>4</sup>
Беларусь	Авторитарный	Инклюзивная
Грузия	Гибридный	Эксклюзивная
Казахстан	Авторитарный	Смешанная <sup>5</sup>
Киргизия	Авторитарный	Смешанная <sup>6</sup>
Латвия	Дефектная демократия	Эксклюзивная

<sup>1</sup> Это, например, Молдова, где так и не сложился прочный консенсус по поводу того, стоит ли рассматривать молдаван как часть искусственно разделённой в 1940 г. румынской нации или же ориентироваться на собственный проект национального строительства. Эти дискуссии проецируются и на сферу исторической памяти.

<sup>2</sup> Для оценки политического режима использован рейтинг демократии от «The Economist Intelligence Unit», который ранжирует страны по четырём категориям: авторитарные и гибридные режимы, «дефектные» и полноценные демократии. Подробнее см.: <https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy>.

<sup>3</sup> Мы выделяем три модели нациестроительства: инклюзивную, эксклюзивную и смешанную. Инклюзивная модель предполагает ориентацию на поликультурную гражданскую нацию, что выражается в институционализации культурных различий (например, во введении, хотя бы на региональном уровне, многоязычия), а также в репрезентации нации как культурно сложной (ссылка на многонациональность, поликонфессиональность общества в официальной риторике). В противоположность ей эксклюзивная модель ориентирована на построение нации как культурно гомогенной общности, следствием чего оказывается ассимилирующее давление на этнические меньшинства. Смешанная модель по факту оказывается ближе к эксклюзивной, тем не менее, она сочетает в себе черты обеих названных моделей.

<sup>4</sup> С одной стороны, Азербайджан провозгласил мультикультурализм основой своей государственной политики: в 2014 г. создан Бакинский международный центр мультикультурализма, 2016-й был объявлен Годом мультикультурализма в стране [4]. С другой стороны, реальное положение в стране этнических меньшинств (талышей, лезгин) позволяет сделать вывод о существенном расхождении официальной риторики и практики.

<sup>5</sup> Русский язык в стране имеет статус официального, при президенте действует совещательный орган под названием «Ассамблея народов Казахстана». В то же самое время первый президент Н. Назарбаев нередко публично рассуждал о казахях как «государствообразующей нации», внутренние границы областей сознательно перекраивались так, чтобы в каждой из них большинством населения оказались этнические казахи, в политической и бизнес-элите неказахское население оказывается явно недопредставленным.

<sup>6</sup> Как и в Казахстане, русский язык в Киргизии имеет статус официального; первый президент А. Акаев публично провозглашал лозунг: «Кыргызстан – наш общий дом»; была создана Ассамблея народа Кыргызстана, куда вошли представители различных этнических групп. С другой стороны, крупнейшее этническое меньшинство, узбеки, почти не имеют доступа в элиту, узбекский язык не может получить в стране статус даже регионального языка.

Продолжение табл.

Страна	Тип политического режима (по итогам 2021 г.)	Модель нациестроительства
Литва	Дефектная демократия	Эксклюзивная
Молдова	Дефектная демократия	Эксклюзивная
Россия	Авторитарный	Инклюзивная
Таджикистан	Авторитарный	Эксклюзивная
Туркмения	Авторитарный	Эксклюзивная
Узбекистан	Авторитарный	Эксклюзивная
Украина	Гибридный режим	Эксклюзивная
Эстония	Дефектная демократия	Эксклюзивная

Из всего сказанного следует вывод, что необходимым условием движения к агонистической модели памяти оказывается пересечение на постсоветском пространстве инклюзивной модели нациестроительства и демократической политики. Как было показано в статье, несмотря на некоторые позитивные подвижки за прошедшие годы, говорить о преодолении на постсоветском пространстве подозрительных, если не сказать враждебных установок, в отношении культурного разнообразия, пока не приходится. Столь же трудно обстоит дело и с перспективой демократического развития в регионе. В начале 1990-х гг. постсоветские страны рассматривались как переходные от тоталитаризма к демократии и рыночной экономике, однако реальный транзит пошёл гораздо более сложным и извилистым путём. Где-то демократизация оказалась быстро свёрнутой, где-то она и вовсе не начиналась, в результате мы имеем в бывшем СССР целый ряд случаев пожизненного президентства, два эпизода де-факто династической передачи власти от отца к сыну (Азербайджан и Туркменистан), зато не обнаруживаем ни одной полноценной демократии. Даже «дефектная» демократия (если не считать страны Балтии, пошедшие сразу после 1991 г. отдельной дорогой) на постсоветском пространстве сегодня только одна. Поэтому приходится заключить, что сфера исторической памяти в постсоветских странах, по-видимому, ещё не скоро станет пространством настоящего агонистического диалога.

#### Список литературы

- Ахундов, С. Наш геноцид. Историческая политика и школьное образование в Азербайджане / С. Ахундов. – URL: <https://www.opendemocracy.net/ru/nash-genocid/> (дата обращения: 01.12.2022).
- Бурдьё, П. Клиническая социология поля науки / П. Бурдьё // Социоанализ Пьера Бурдьё. – Москва : Институт экспериментальной социологии ; Санкт-Петербург : Алетей, 2001. – С. 19–36.
- Горшенина, С. «Культурное наследие» Узбекистана и конструирование «коллективной памяти» в эпоху независимости / С. Горшенина // Центральная Азия – 25: мысли о прошлом, проекция будущего. Сборник эссе из Центральной Азии. Институт европейских, российских и евразийских исследований / ун-т Дж. Вашингтона. – 2017, март. – С. 58–62.
- Жериборов, Д. С. Концепция мультикультурализма в современной политике Азербайджана / Д. Жериборов // Научный диалог. – 2017. – № 7. – С. 95–102. doi: 10.24224/2227-1295-2017-7-95-102.
- Малинова, О. Ю. Коммеморация столетий революции(ий) 1917 г. в РФ: сравнительный анализ соперничающих нарративов / О. Малинова // Полис. – 2018. – № 2. – С. 37–56. doi: 10.17976/jpps/2018.02.04.
- Миллер, А. Россия: власть и история / А. Миллер // Pro et Contra. – 2009. – Т. 13, № 3–4 (46). – С. 6–23.
- Рудлинг, П. А. Лукашенко и «красно-коричневые»: национальная идеология, коммеморация и политическая принадлежность / П. Рудлинг // Историческая экспертиза. – 2021. – № 2 (27). – С. 44–77. doi: 10.31754/2409-6105-2021-2-44-77.
- Ушакин, С. Колониальный омут и его последствия / С. Ушакин // Все в прошлом. Теория и практика публичной истории. – Москва : Новое издательство, 2021. – С. 395–428.
- Финкель, Е. В поисках «потерянных геноцидов» / Е. Финкель // Pro et Contra. – 2011, май – август. – С. 123–143.
- Шнирельман, В. Президенты и археология, или что ищут политики в древности / В. Шнирельман // Вестник Российской науки. – 2010. – № 1–2. – С. 198–209.
- Arendt, H. The Human Condition / H. Arendt. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1998. – 349 p.
- Bell, D. Agonistic Democracy and the Politics of Memory / D. Bell // Constellations. – 2008. – Vol. 15 (1). – P. 148–166. doi: 10.1111/j.1467-8675.2008.00478.x.
- Bell, D. Mythscapes: memory, mythology, and national identity / D. Bell // The British Journal of Sociology. – 2003. – Vol. 54, № 1. – P. 63–81. doi: 10.1080/0007131032000045905.
- Bernhard, M. A Theory of the Politics of Memory / M. Bernhard, J. Kubik // Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 384 p.
- Bull, A. C. Agonistic memory and post-conflict societies / A. C. Bull // Literature Review: An introduction to agonistic memory and DisTerrMem. – URL: <https://www.disterrmem.eu/publications> (accessed at: 01.12.2022).
- Bull, A., Hansen, H. On agonistic memory / A. Bull, H. Hansen // Memory Studies. – 2016. – Vol. 9, № 4. – P. 1–15. doi: 10.1177/1750698015615935.
- Erll, A. Wars We Have Seen: Literature As a Medium of Collective Memory in the “Age of Extremes” / A. Erll // Memories and Representations of War: The Case of World War I and World War II. – Amsterdam ; New York, 2009. – P. 25–43.
- Irwin-Zarecka, I. Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory / I. Irwin-Zarecka. – London ; New York : Routledge, 1994. – 228 p.
- Jovic, D. ‘Official memories’ in post-authoritarianism: an analytical framework / D. Jovic // Journal of Southern Europe and the Balkans. – 2004. – Vol. 6, № 2. – P. 97–108. doi: 10.1080/1461319042000242001.
- Kappeler, A. From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational Ukrainian History / A. Kappeler // A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. – Budapest ; New York : CEU Press, 2009. – P. 51–80.
- Khalid, A. Making Uzbekistan. Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR / A. Khalid. – Cornell. Ithaca ; London, 2015. – 444 p.
- Levy, D. Memory Unbound: the Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory / D. Levy, N. Sznajder // European Journal of Social Theory. – 2002. – Vol. 5, № 1. – P. 87–106. doi: 10.1177/1368431002005001002.
- Mouffe, Ch. Agonistics: Thinking the World Politically / Ch. Mouffe. – London – New York : Verso, 2013. – 176 p.
- Schwartz, B., Schuman, H. History, Commemoration, and Belief: Abraham Lincoln in American Memory, 1945–2001 / B. Schwartz, H. Schuman // American Sociological Review. – 2005. – № 70. – P. 183–203. doi: 10.1177/000312240507000.
- Wagner-Pacifici, R. The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past / R. Wagner-Pacifici, B. Schwartz // American Journal of Sociology. – 1991. – Vol. 97, № 2. – P. 376–420.

#### References

1. Ahundov, S. *Nash genocid. Istoricheskaya politika i shkolnoe obrazovanie v Azerbaydzhane* [Our genocide. Politics of memory and school education in Azerbaijan]. Available at: <https://www.opendemocracy.net/ru/nash-genocid/> (accessed: 01.12.2022).
2. Burde, P. *Klinicheskaya sotsiologiya polya nauki* [Clinical sociology of the field of science]. *Sotsioanaliz Pera Burde* [Socioanalysis of Pierre Bourdieu]. Moscow: Institute of Experimental Sociology; Saint-Petersburg: Aleteya; 2001, pp. 19–36.
3. Finkel, E. V poiskakh "poteryannykh genotsidov" [In search of "lost Genocides"], *Pro et Contra*. 2011, May-August, pp. 123–143.
4. Gorshenina, S. "Kulturnoe nasledie" Uzbekistana i konstruirovaniye "kollektivnoy pamyati" v epokhu nezavisimosti [The "cultural heritage" of Uzbekistan and the construction of "collective memory" in the era of independence]. *Tsentralnaya Aziya – 25: mysl' o proshlom, proektsiya budushchego. Sbornik esse iz Tsentralnoy Azii* [Central Asia – 25: thoughts about the past, projection of the future. Collection of essays from Central Asia]. Institute for European, Russian and Eurasian Studies of The George Washington University; March 2017, pp. 58–62.
5. Malinova, O. Yu. *Kommemoratsiya stoletiy revolyutsii(y) 1917 goda v RF: sravnitelnyy analiz sopernichayushchikh narrativov* [The commemoration in Russia of the centenary of the 1917 revolution(s): comparative analysis of rival narratives]. *Polis* [Political Studies]. 2018, no. 2, pp. 37–56. doi: 10.17976/jpps/2018.02.04.
6. Miller, A. Rossiya: vlast' i istoriya [Russia: authority and history]. *Pro et Contra*. 2009, vol. 13, no. 3–4 (46), pp. 6–23.
7. Rudling, P. A. Lukashenko i "krasno-korichnevye": natsionalnaya ideologiya, kommemoratsiya i politicheskaya prinaldzhnost [Lukashenko and the "red-brown": national ideology, commemoration and political affiliation]. *Istoricheskaya ekspertiza* [Historical Expertise]. 2021, no. 2 (27), pp. 44–77. doi: 10.31754/2409-6105-2021-2-44-77.
8. Shnirelman, V. Prezidenty i arheologiya, ili chto ishchut politiki v drevnosti [Presidents and archaeology, or what politicians are looking for in antiquity]. *Vestnik Rossiyskoy natsii* [Bulletin of Russian nation]. 2010, no. 1–2, pp. 198–209.
9. Ushakin, S. Kolonialnyy omet i ego posledstviya [The colonial omelet and its consequences]. *Vse v proshlom. Teoriya i praktika publichnoy istorii* [Everything is in the past. Theory and practise of public history]. Moscow: Novoe izdatelstvo; 2021, pp. 395–428.
10. Zheriborov, D. S. Kontseptsiya multikulturalizma v sovremennoy politike Azerbaydzhana [The concept of multiculturalism in contemporary politics of Azerbaijan]. *Nauchnyi dialog* [Scientific Dialogue]. 2017, no. 7, pp. 95–102. doi: 10.24224/2227-1295-2017-7-95-102.
11. Arendt, H. *The Human Condition*. Chicago; London: The University of Chicago Press; 1998, 349 p.
12. Bell, D. Agonistic Democracy and the Politics of Memory. *Constellations*, 2008, vol. 15 (1), pp. 148–166. doi: 10.1111/j.1467-8675.2008.00478.x.
13. Bell, D. Mythscapes: memory, mythology, and national identity. *The British Journal of Sociology*, 2003, vol. 54, no. 1, pp. 63–81. doi: 10.1080/0007131032000045905.
14. Bernhard, M., Kubik, J. A Theory of the Politics of Memory. *Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration*. Oxford: Oxford University Press; 2014, 384 p.
15. Bull, A. C. Agonistic memory and post-conflict societies. *Literature Review: An introduction to agonistic memory and DisTerrMem*. URL: <https://www.distermem.eu/publications> (accessed: 01.12.2022).
16. Bull, A., Hansen, H. On agonistic memory. *Memory Studies*, 2016, vol. 9, no. 4, pp. 1–15. doi: 10.1177/1750698015615935.
17. Erll, A. Wars We Have Seen: Literature As a Medium of Collective Memory in the "Age of Extremes". *Memories and Representations of War: The Case of World War I and World War II*. Amsterdam, New York: 2009, pp. 25–43.
18. Irwin-Zarecka, I. *Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory*. London, New York NY: Routledge; 1994, 228 p.
19. Jovic, D. 'Official memories' in post-authoritarianism: an analytical framework. *Journal of Southern Europe and the Balkans*. 2004, vol. 6, no. 2, pp. 97–108. doi: 10.1080/1461319042000242001.
20. Kappeler, A. From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational Ukrainian History. *A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography*. Budapest, New York: CEU Press; 2009, pp. 51–80.
21. Khalid, A. *Making Uzbekistan. Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. Cornell. Ithaca, London; 2015, 444 p.
22. Levy, D., Sznajder, N. Memory Unbound: the Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory. *European Journal of Social Theory*. 2002, vol. 5, no. 1, pp. 87–106. doi: 10.1177/1368431002005001002.
23. Mouffe, Ch. *Agonistics: Thinking the World Politically*. London, New York: Verso; 2013, 176 p.
24. Schwartz, B., Schuman, H. History, Commemoration, and Belief: Abraham Lincoln in American Memory, 1945–2001. *American Sociological Review*. 2005, no. 70, p. 183–203. doi: 10.1177/000312240507000.
25. Wagner-Pacifi, R., Schwartz, B. The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past. *American Journal of Sociology*. 1991, vol. 97, no. 2, pp. 376–420.

#### Информация об авторе

Летняков Д. Э. – кандидат политических наук.

#### Information about the author

Letnyakov D. E. – Candidate of Political Sciences.

Статья поступила в редакцию 02.12.2022; одобрена после рецензирования 13.12.2022; принята к публикации 30.01.2023.

The article was submitted 02.12.2022; approved after reviewing 13.12.2022; accepted for publication 30.01.2023.